

## Малые славянские языки: в каком смысле?

Завершающее десятилетие XX в. отмечено активизацией основных — и в первую очередь языковых — форм национального бытия малых этнических и различных региональных групп славянства, широта которой позволяет расценить это явление как рецидив так называемого славянского национального возрождения, в период с конца XVIII в. до половины нашего столетия всколыхнувшего народы далеко не только «малой Славии».

Продолжая сравнение, необходимо, впрочем, заранее оговориться, что, особенно для малых языков исторические аналогии бывают не вполне адекватными (характерные примеры подобных некорректных параллелей будут приведены ниже). В данном случае следует помнить о разных условиях протекания процессов славянского национального возрождения и современного оживления отдельных славянских меньшинств.

Вплоть до начала XX в. меньшинствами в ситуации длительного доминирования чужой этнической и языковой среды, по сути дела, были и достаточно большие славянские народы на территориях Османской и Австрийской (Австро-Венгрия) империй. Это обуславливало как типологическую общность программ национального возрождения у них и у действительно малочисленных групп славян, так и субъективно «панславистскую» ориентацию всего этого процесса в духе устойчивой романтической идеи «славянской взаимности». Образцом для народных движений западной и южной Славии тогда с закономерностью выступало единственное государство с эксплицитной славянской доминантой — Российская империя. Исключение составляли в той или иной мере подавляемые славянские меньшинства внутри самой этой монархии: поляки (исторически поздний раздел Польши между Россией, Австрией и Пруссией не означал у них угрозу национальной самобытности и вообще не вызвал потребности в возрождении), а также, разумеется, украинцы с белорусами.

Напротив, новый подъем «малой Славии» сопровождал падение тоталитарных режимов в рамках прежнего «социалистического лагеря» на сей раз уже преимущественно славянских суверенных государств, представляя собой в целом проявление разбухенной разрушением тоталитаризма центробежности, какая сказала здесь в гораздо более широком масштабе и обернулась даже дезинтеграцией некоторых многонациональных образований, в их числе также СССР. При этом было бы ошибкой считать такое течение событий специфически славянским или вос-

точноевропейским «постсоциалистическим синдромом». Центробежные тенденции как антитеза интеграционных процессов, протекающих ныне в странах Западной Европы и едва ли не во всем мире, набирают силу всюду — не только на мировых окраинах. Современное движение возрождения славянских меньшинств в результате всего этого большей частью лишено русофильской и панславистской окраски: народы «малой Славии» сейчас активнее завязывают контакты с другими миноритарными группами, славянскими и неславянскими, стараясь найти свое место на карте «малой Европы».

Вышеизложенное побуждает к изучению лингвистической действительности «малой Славии» в общеевропейском контексте. Данная задача требует в первую очередь внедрения единого критерия вычленения малых славянских и западноевропейских языков (с региональными как разновидностью миноритарных). Критерий этот должен быть, по нашему убеждению, строго социолингвистическим. Комбинирование такового с другими известными науке способами лингвистического описания — лингвогеографическим, компаративным, историко-филологическим — фактически затемняет объективное положение, провоцируя подчас острые дискуссии вокруг статуса малых языков («язык или диалект?» и т. п.) при неясных границах предмета обсуждения («в каком смысле язык?»).

Как правило, говоря о малых славянских языках, исходят из наличия литературного идиома. Такой взгляд, ввиду важной роли литературных языков в современных обществах социолингвистически полностью закономерный, красной нитью проведен через монографию тартуского языковеда, ведущего специалиста по «малой Славии» А. Д. Дуличенко «Славянские литературные микроязыки» (Таллин, 1981). Объявляя новаторски выделенные им на славянском материале «литературные микроязыки» самостоятельной лингвистической категорией, исследователь, однако, относит сюда явления разного социолингвистического ранга. «Микроязыки» А. Д. Дуличенко функционируют в ситуациях по меньшей мере трех типов.

1. В ряде случаев речь идет об исторически сложившейся иерархии литературно-языковых форм и народных говоров (с промежуточными наддиалектными субстандартными идиомами). Языков с такой многоуровневой структурой различных форм реализации в «малой Славии» всего два. Это **серболужицкий** с литературными **верхне- и нижнелужицкими** и **воеводинско-русинский** (у А. Д. Дуличенко — югославо-русинский).

Оба они как нельзя полнее удовлетворяют европейскому понятию о миноритарных языках: серболужичане (сербы-лужичане, лужицкие сербы, иначе — сорбы) в Германии и русины в районах Бачка и Срем на

территории сербской Воеводины образуют «классические» меньшинства численностью в первом случае около 50 тыс., а во втором — около 30 тыс. человек. Между тем ввиду наличия достаточно сложной иерархии взаимосотнесенных форм эти малые языки оказываются подобны «большим». Характерно в данном смысле, что обычно именно так, в ряду «больших» славянских языков, в славистической литературе трактуют серболужицкий либо нередко порознь каждый из двух его стандартных идиомов, в связи с чем они отсутствуют в перечне «микроязыков» А. Д. Дуличенко.

При всем этом даже серболужицкий имеет кое в чем иначе организованную иерархию языковых форм, нежели национальные языки. Это мотивировано тем, что оба его литературных представителя функционируют ограниченно. В принципе сравнимые с литературными языками «большой Славии» по набору основных функций, они, однако, разительно отличаются масштабами реализации последних. Можно назвать целые сферы, внешние для данного малого этноса, где литературные серболужицкие языки неупотребительны. (Подробнее современное бытование литературных и других форм серболужицкого языка и более ранняя эволюция его социальной роли описаны в статьях Л. Элле и Л. П. Лаптевой, помещенных в настоящем сборнике.)

Этой неполноправностью определяется неравномерно ограниченная способность литературных верхне- и нижнелужицкого оцениваться как естественная вершина языковой пирамиды, основание которой образуют народные диалекты. Более или менее органичную связь с говорами обнаруживает лишь первый из них — особенно в области с компактным католическим населением на территории Верхней Лужицы. Напротив, в Нижней Лужице зачастую наблюдается отторжение «своего» литературного языка малочисленными здесь активными носителями диалектов, ср. отзывы «это не по-нашему» либо даже «это по-верхнелужицки». Последняя оценка отчасти объяснима тем, что литературный нижнелужицкий язык многократно на разных этапах своего развития в XIX и XX вв. испытал мощное влияние со стороны давно первенствующего верхнелужицкого. Современные попытки ослабить таковое направлены на устранение наиболее одиозных последствий политики языковой унификации обеих Лужиц, какую здесь принялись проводить по окончании второй мировой войны, и сводятся в основном к «корректурам» в лексике и в орфографии (возвращение нижнелужицкого к написаниям типа *Nimc* вместо «общелужицкого» *Němc*, к обозначению звука [y<sup>e</sup>] из [o] после губных и задненебных не перед губными и задненебными через *ó* и др.). При этом нижнелужицкая грамматика не отказывается от архаизмов, какие отсутствуют в народных говорах, а их сохранение опирается исключительно на верхнелужицкую модель литературного языка (таковы

аорист и имперфект глагола; понятно, что, слыша в церкви фразу *Na zachopjenku běšo to słowo* 'В начале было Слово', нижнелужицкий верующий скорее отождествит форму *běšo* с верхнелужицкой *běše*, а не с привычной народной *jo było*).

Однако отторжение «своего» литературного языка в Нижней Лужице имеет и более глубокие, лингвопсихологические корни. Согласно проверенной информации, в восприятии старшего поколения носителей нижнелужицких диалектов в деревнях роль «маминой речи» ограничена сугубо их интимным общением. Верхнелужицкий для них наделен более высоким статусом (отсюда идентификация с ним литературного нижнелужицкого), но при этом даже сербов из Верхней Лужицы они трактуют как «чужих», с которыми естественнее говорить по-немецки.

На фоне этих фактов в новом свете предстает проблема единства серболужицкого языка. Общее национальное самосознание обеих групп малого славянского этноса с тождественным самоназванием — сербы — здесь не до конца согласуется с языковым. Нижнелужицкая часть серболужицкого этнолингвистического пространства достаточно специфична, хотя своя иерархия диалектных и литературной языковых форм в этой зоне отсутствует и в данном смысле особый нижнелужицкий язык, по нашему убеждению, не существует. С учетом активизируемых учеными Нижней Лужицы попыток создать такую иерархию можно констатировать, что ситуация там аналогична той, которая характерна для второго типа литературных языков «малой Славии».

Асимметричное этническое и языковое сознание выступает и у разных групп русин, живущих в сербской Воеводине, в Восточной Словакии, частью в Венгрии, в Польше («лемки»), а также в Закарпатской области Украины. Из них на сегодняшний день лишь воеводинские русины имеют развитый литературный язык, по набору функций сопоставимый с верхнелужицким. Их стандартный идиом также обнаруживает вполне органичную соотношенность с опорными говорами, в своей основе восточнословацкими. Первоначальная связь говора предков давних переселенцев из Восточной Словакии с карпаторусинским диалектным пространством, представляющим собой продолжение украинского, утрачивалась еще на старой родине этих русин. В итоге воеводинско-русинский язык — стандартный и диалекты — в целом отражает бытующие и в нерусинских говорах Восточной Словакии черты украинского и наряду с этим польского типа; одновременно он перенял немало сербских элементов. (Ср. фразу на литературном воеводинско-русинском *Ледво му дзешец роки було, Милошко ше волап, а барз ме модлел: «Діду, вежніце и мнє...»* 'Ему было всего лишь десять лет, Милошко его звали, и он очень меня просил: «Дедушка, возьмите и меня...»', где форма *діду* без восточнословацкого «дзеканья» — гипернормальный лексический

украинизм, форма *модлел* при словацкой огласовке — семантический сербизм, а остальное, включая и «украинскую» форму *було*, и полонизм *барз*, совпадает с диалектным восточнословацким состоянием.)

Естественно, воеводинско-русинский стандартный идиом не может обслуживать ни русин, оставшихся в Восточной Словакии, в говорах которых наблюдается обратное соотношение коренных карпаторусинских черт и словакизмов, ни тем более польских лемков или русин в Закарпатской области Украины. Однако попытки кодифицировать собственный литературный язык либо по крайней мере призывы к этому у русин в указанных регионах представляют собой сравнительно с воеводинско-русинским явления совершенно иного типа.

2. Другая группа литературных идиомов в современной «малой Славии» — это литературно-языковые эксперименты с целью создания такой иерархии с говорами, которая присуща малым языкам предыдущей группы, или аналогичной ей. Сюда относятся, в частности, **русинский в Словакии** и **лемковский в Польше** (у русин Закарпатья речь пока идет не об экспериментах, а лишь о декларациях), **кашубский в Польше**, а также некоторые подобные образования у южных славян.

Возрождение на новой основе литературного языка русин Восточной Словакии (с опорой на первые опыты времен Австрийской империи и межвоенной Чехословацкой Республики) началось сразу же после «бархатной революции» 1989 г. в Чехословакии, будучи реакцией на политику украинизации, которую по отношению к русинскому населению проводили прежние власти. Одной из форм этого возрождения явилось издание журнала «Русин», в первом номере которого, в статье с характерным заголовком «Вавілонська вежа в Карпатах», читаем: *«Межі українськым и русинськым народом є велика пропасть — роздільний язык. Видно то із того, же наш народ дотепер не приял український літературний язык за свій. Свідчать о тім лемкы в Польці, русины в Чехо-Словакії, на Закарпатю, в Югославії, в Америці. Всяды пробують кодифікувати язык, писати по-народному»*. Рассуждения автора крайне симптоматичны. Тождество — «ідентита» — русинского этноса при всех различиях и даже гетерогенности диалектов, на которых говорят отдельные его группы, аргументируется а *contrario*: неукраинским самосознанием русин («чулися все самі собов») и в подтверждение этого — неприятием украинского литературного идиома. Под «вавилонским столпотворением» соответственно подразумевается не реальное «смешение языков» у русин карпатского ареала и диаспоры, а навязывание русинскому населению Прикарпатья литературного украинского.

Сообразно призыву «писати по-народному» в первом же номере цитируемого журнала была выдвинута задача кодификации литературного языка русин Словакии. Основой такового решено было сделать один

говор — лаборецкий, ибо подчеркивалось: «*Писати на вишиткых говорах — хто як хоче і знать — то розпутя. Не веде ку ничому, баламутить люди...*» Правда, авторы журнальных публикаций вначале писали именно «кто как знает». В соседних заметках и даже в пределах статьи одного автора здесь обнаруживаются множество лексических колебаний, далеко идущая морфологическая вариативность, фонетическая разногласица и нередко просто противоречивая орфография. Ср. примеры: *люде* и *люди* (им. п. мн. ч.), *в Америкі* и *на выставці, з Лабірця* и *до Лабірце* (аналогично *докінце* из словацк. *dokonca*), *то єм му і повів* и *я іщі не зазнал* (1-е л. ед. ч. прош. вр., там же 3-е л. ед. ч. *повів* 'сказал'), *будучность* и *правдивість* и т. п., *родный, родне* и *рідне*, в *Пряшові* и в *Пряшеві*, в *Лабірці* и у *Лабірці* (в/у после слова с конечным гласным), *святый, сята* и *на святій* и т. п., *вишиткы* и *нам шыткым* 'все, всем', *іщі* и *іші* 'еще', *межі* и *меджі* 'между', *церков* и *цирков*, *зьме* и *зме* (1-е л. мн. ч. наст. вр. глагола 'быть'), *серцом* и *серцьом* (тв. п. ед. ч.), *Слов'яни* и *Словяни*, *розвивати* и *розвыток* 'развитие', окончание *-ами* и *-амі* (тв. п. мн. ч.) и др. Утвердить взамен всего этого хаоса единые правила была призвана кодификация литературного языка русин Словакии, состоявшаяся в 1995 г. Однако и сейчас, по проверенной информации, он является достоянием немногих: «рядовые» русины порой даже не знают об этой кодификации.

Еще контрастнее несомещение с сознанием массы населения литературно-языковых экспериментов и деклараций у лемков в Польше и русин в Закарпатской области Украины. В отношении последних своеобразным подтверждением этого может служить одна мистификация, опубликованная в украинской газете «Новини Закарпаття» в апреле 1991 г.: рассказ вымышленной русинской колхозницы Полани Фещанючки о жизни ее села, который завершает просьба к редактору Ферко Фурику: «*І напоследь едно тя дуже попрошу, Ферку. Як будеш видітися в Ужгороді з тими нашими письменниками, що хочуть русинську граматику учинити, кажи їм, най се роблять скорше. Бо по-ученому дуже тяжко прийшло 'ми се писати, а як буде наша граMATИКА — лишу до чорта колхоз і буду писати у твою новинку кожний другий день*». Во всякой шутке есть доля правды; только в данном случае она, очевидно, выступает в зеркальном отражении.

Литературный кашубский по ряду параметров отличается от других малых языков этой группы. На протяжении длительного времени он развивался как региональный стандартный идиом составной части польской нации, не претендуя на создание с базовыми говорами отдельной иерархии, в которой он был бы вершиной, а литературный польский оказался бы «отчужден». Соответственно стандартный (письменный) кашубский существовал в основном в художественно-литературной сфере; так это было с конца XIX — начала XX в. и особенно в период после

второй мировой войны. Уже на пороге нового этапа истории литературного кашубского языка такой его характер, например, хорошо отразила ориентация «Кашубской грамматики» Э. Брезы и Е. Тредера (Гданьск, 1981). Свой популярный очерк авторы адресуют «читающим, а главное — пишущим по-кашубски или использующим кашубский как средство языковой стилизации в произведениях, создаваемых по-польски». Этот труд они называют «своеобразным приложением к грамматике польского литературного языка», как их же «Принципы кашубского правописания» 1975 г. были «приложением к правилам польской орфографии». Рассматриваемый по состоянию до начала 1990-х годов, литературный кашубский язык должен быть, собственно, причислен к третьей группе стандартных идиомов «малой Славии».

Стремление к переоценке места литературного кашубского языка дало о себе знать на II конгрессе кашубов, состоявшемся в 1992 г. — спустя полвека после проведения первого. Идея кашубского регионализма здесь получила новое развитие. Резолюции Конгресса во главу угла ставят концепцию «малого и большого Отечества» (Поморье — Польша), предлагают формулу триединого самосознания кашубов («я кашуб — я поляк — я европеец»), но одновременно содержат понятия «кашубский этнос» и «кашубский этнолект». Литературной ипостаси этого «этнолекта» была отведена первостепенная роль в рамках образовательной деятельности, направленной на патриотическое воспитание кашубов, особенно молодежи.

Ныне стандартный кашубский выступает не только языком художественных и публицистических текстов. Его пропагандирует церковь (где это отчасти даже язык богослужения), телевидение (местное вещание транслирует телеуроки кашубского); наконец, существуют школы и лицей с преподаванием предметов на кашубском. При этом процесс его вранения в жизнь общества далек от завершения, тем более что до сего дня язык кашубской письменности, несмотря на давнюю ее традицию, вовсе не столь стандартизирован.

Отсутствует даже общепринятая орфография. Хотя после 1975 г. большинство авторов держится «Принципов кашубского правописания», компромиссных в отношении польского, в сборнике материалов II конгресса кашубов единственное выступление по-кашубски напечатано в орфографии, совмещающей элементы нескольких старых систем XIX — начала XX в. Это обозначение мягкости согласного перед гласным через *j* (им. п. мн. ч. *Kaszëbji*, частица *nje* — в системе 1975 г. *Kaszëbi, nie*), передача континуанта краткого носового гласного через *ã* (*swjãti* «святой» — в системе 1975 г. *swięti*), отображение открытого [ɔ] через *ò*: (*òjc* «отец» — в системе 1975 г. без диакритического знака), попытке закрепить не до конца ясные из-за неаккуратной печати функции за бук-

вами *õ* (*znõwi* «снова»), *è* (*szczescè* — ? «счастье») и *ù* (*mùszimè* «мы должны») и др. Орфографическую нестабильность у кашубов усугубила новая реформа правописания, предложенная группой кашубских пуристов в 1996 г.

Разумеется, само по себе целенаправленное дистанцирование кашубской орфографии от польской не гарантирует «чистоты» кашубского литературного языка. Текст вышеупомянутого выступления на II конгрессе кашубов проникнут полонизмами в большей степени, чем кашубские публикации журнала «Померания», выдержанные в орфографии 1975 г., ср. *wjāci* «больше» без старопоморского изменения  $\epsilon > i > i$  (в «Померании» *wicy*), *razā* «разом, вместе» — но *przed ... Kongresem* (в «Померании» окончание тв. п. ед. ч. имен этого типа всегда  $\epsilon$ ) и др. В свою очередь язык «Померании» тоже отражает слишком широкий для стандартного идиома репертуар допустимых колебаний внутри достаточно свободной нормы, как она изложена, согласно концептуальной позиции авторского тандема, в дескриптивной, вплоть до показа картины в говорах, но не предписывающей «Кашубской грамматике» 1981 г. Фиксируются колебания двух типов.

Диалектизмы, появляющиеся в художественных текстах, обычно обуславливаются стилистически: автор также и в своей речи пытается передать колорит описываемой местности. Одним из таких средств предстает наличие единого европейского I («бьячение») в произведениях писателя Я. Джебджона. Иное дело — немотивированная морфологическая вариативность или дублетность в публицистике Э. Голомба, проявляющаяся, в частности, в образовании форм прошедшего времени глаголов. При том, что он же в телеуроках кашубского, выступая их соредактором, кодифицировал в 1 л. мн. ч. лишь формы типа (*mě*) *jesmė znalė* или *mė znalė*, а во 2 л. мн. ч. — (*wa*) *jesta zna(ła)* или *wa zna(ła)*, в журнальных его публикациях можно обнаружить 1 л. мн. ч. *jesmė chcelė* «мы хотели», *jesma wětika* с опущением конечного *-ta* «мы упрекали» и *jesama (!) sę ni mogła rozoyńc* «мы не могли разойтись». Создатели «Кашубской грамматики» 1981 г. также приводят примеры форм 1 л. мн. ч. прош. вр. с вспомогательным *jesma* и смысловым глаголом на *-ta* из литературы, но не в образцах спряжения, утрату же *-ta* после *-a* вообще отмечают только для 3 л. ед. ч. ж. р. (добавляя, что пропуск отдельными авторами конечного *-tė* в 3 л. мн. ч. ж. р. не имеет опоры в говорах).

У южных славян на подобный же статус вершины локальной языковой парадигмы субэтноса с «островным» самосознанием обособленного отряда большего народа претендуют стандартные **градищанско-хорватский** в Австрии и, насколько нам известно, **молизско-хорватский** в Италии. В первом случае история эксперимента с намерением создать органичную функциональную иерархию диалектных и литературной

форм реализации регионального «этнолекта» насчитывает многие десятилетия. Отчасти эти попытки градищанско-хорватских деятелей увенчались успехом (организация школьного преподавания своего языка, радиопередачи, разнообразные печатные издания), однако признание ими примата «большого» литературного хорватского, кажется, обрекает строящуюся здесь иерархию на незавершенность. Аналогичный эксперимент со стандартным молизско-хорватским находится *in statu nascendi*.

3. Еще один тип малых славянских языков — это стандартные идиомы, функциональный спектр которых ограничен рамками художественной литературы (обычно поэзии). Так функционируют с начала XX в. литературные **чакавский** и **кайкавский** в Хорватии, переживающий ныне второе рождение **резьянско-словенский** в Италии и возникший совсем недавно **полесский** в Белоруссии. Подобные литературные языки часто даже не рассчитаны на усвоение их нормы широкими массами носителей базовых говоров; их культивирует относительно замкнутый круг местной интеллектуальной элиты. Крайнюю форму приняло это в случае с **ляшским языком** в Чехословакии: созданный в 1930-е годы силезским поэтом О. Лысогорским (и поддержанный в то время еще тремя авторами), он по завершении второй мировой войны вплоть до конца 50-х годов оставался литературным языком индивидуального пользования.

Стандартные идиомы данной группы близки «литературным диалектам», на каких вполне традиционно осуществляется издание художественных произведений с локальным колоритом в Чехии, Словакии, Польше и иных областях Славии (даже «малой» — ср., например, в Лужице «Слепянскую антологию» 1995 г. с текстами на одном из промежуточных верхнелужицко-нижнелужицких диалектов). Разграничить те и другие можно лишь условно с учетом объемов печатной продукции или скорее наличия/отсутствия сколько-нибудь зрелого литературного процесса.

Так же условно проходят подчас границы между очерченными типами современных литературных языков «малой Славии». Ситуация здесь глубоко динамична: стандартные идиомы второго типа по определению стремятся перейти в первый, а для них в свою очередь изначальной питательной средой является третий тип. Новейшие события показали, что расстояние, разделяющее последние две подгруппы, при сложившихся исторических предпосылках может преодолеваться скачкообразно (кашубский, русинский в Словакии, который выростал, по сути, из «литературного диалекта»), но с другой стороны, что форсированное формирование языковой иерархии первого типа лишь тормозит органичный эволюционный процесс (нижнелужицкий).

Совершенно аналогично направлен был вектор развития славянских литературных языков — не только малых по нашей оценке — в период

национального возрождения славян. Однако тогда фундаментом языка художественной литературы помимо народных говоров или нивелированных культурных койне на их базе, например фольклорного (образ «литературных диалектов» XX в.), нередко выступала церковная книжность старшей эпохи. В ситуации «малой Славии» в некоторых случаях церковные языки по мере постепенной и непрерывной эволюции плавно давали начало светским. Так это было у серболужичан, где первые печатные издания времен Реформации связаны преемственностью с протестантской и католической — на двоякой диалектной основе — верхнелужицкой литературой XVII — XVIII вв., в лоне которой вызревала мирская поэзия, поднятая на новую ступень и дополненная прозой и драмой в XIX в.; в нижнелужицкой области та же преемственность прослеживается более пунктирно. В исторически сходных условиях развивался и градишанско-хорватский литературный язык (первопечатные протестантские книги с начала XVII в., светское творчество — с XIX в.). Своеобразный вираж подобной же эволюции с поворотом вспять демонстрирует язык прекмурских словенцев, на протяжении длительного времени изолированных от остальной словенской территории. При том, что в Прекмурье издавна представлена протестантская (первая книга датируется 1715 г.) и впоследствии католическая письменность, только в конце XIX в. здесь зародилась весьма скромная светская литература; после второй мировой войны, однако, на местном языке выходят опять-таки исключительно издания евангелической церкви (католики пользуются общесловенским литературным языком). Уже совсем недавно, менее чем за век, начиная с 1860-х годов, возник, перешел от церковной к светской фазе и угас литературный язык болгарских католиков в Банате (на территории современных Румынии и Сербии). Эти примеры создают соблазн вести отсчет истории малых языков нового времени от церковных либо даже более широких старших форм во всех случаях, когда в данном ареале подобные прецеденты имели место. Но очень часто такой подход неправилен.

Цепь исторически сменявших друг друга литературно-языковых форм, локализующихся в рамках одного региона, в «малой Славии» может быть дискретной. Так, у кашубов первое печатное издание с польской языковой основой и отдельными чертами местных говоров появилось в связи с Реформацией в 1586 г. Более народной была окраска языка рукописных религиозных и других книг, какие бытовали здесь в XVII в. Следующие шаги на этом пути предпринял приверженный идее кашубского языкового сепаратизма Ф. Цейнова в середине XIX в. Эксперимент Цейновы, платформой для которого он сделал свой родной говор, однако, не получил прямого продолжения. Непрерывное развитие регионального литературного языка кашубов начинается на иной базе

и только в конце XIX — начале XX в. Несколько традиций региональных языков различного времени возникновения обнаруживаем у восточных словаков. Создававшийся восточнословацкими кальвинистами с середины XVIII в. церковный язык удерживался в употреблении до 1920-х годов. В совершенно иной связи и при опоре на говоры другой восточнословацкой группы в XIX в. появился светский «шаришский язык», до второй мировой войны культивируемый провенгерски настроенными авторами, а в 1919 г. применявшийся в провозглашенной на данной территории Советской Республике для издания «красной» прессы. Наконец, уместно указать, что в новейшее время есть авторы, пишущие на восточнословацком «литературном диалекте». Разумеется, все это многообразие гетерогенных языковых форм нельзя свести вместе, выстроив их на одной эволюционной линии. Также современные кайкавский и чакавский, в функциональном плане — чисто художественно-литературные языки Хорватии, существуют в другом измерении сравнительно с протестантской кайкавской книжностью XVI и литературой чакавского Ренессанса XV в. Говорить об их втором Ренессансе в XX в. (и одновременно о «декадансе» в связи с сужением их функций) славист вправе лишь образно — с равным успехом романист может увидеть в новой окситанской поэзии возрождение куртуазной лирики трубадуров.